

1980-е
Перед отъездом из СССР

Начиная с 1980 года Парщиков посещал студию Кирилла Ковальджи при журнале «Юность» (также в студии были Нина Искренко, Юрий Арабов, Евгений Бунимович, Александр Еременко, Иван Жданов, Александр Самарцев, Марк Шатуновский).

Первая публикация Парщикова — поэма «Новогодние строчки» в журнале «Литературная учеба» (№ 1, 1984).

Алексей Парщиков расценен как ключевая фигура поэтического направления метаметафоризм (определение Константина Кедрова) или же метареализм (термин Михаила Эпштейна).

Первая подборка стиховорений «Днепровский август» вышла в 1986 году в издательстве «Молодая гвардия» в книге, представлявшей четырех молодых поэтов (Ю. Кабанков, Р. Недоводин, А. Парщиков, Ю. Корс).

Алексей Парщиков — лауреат премии Андрея Белого 1986 года («присуждена за нетривиальный и убедительный труд по расширению возможностей поэтического языка, за поэму „Я жил на поле Полтавской битвы“, возвращающую воображение и мысль читателя в поле подлинного чтения»). Не позже 1986 года поэма «Я жил на поле Полтавской битвы» напечатана в частном издательстве Аркадия Семенова «Фонд мира».

Книга «Фигуры интуиции» появилась в 1988 году сначала на датском языке (Intuitionsfigurer. Aarhus: Hutes Forlag/S.O.L., tr. Rer Aage Brandt & Marie Tetzlaff); спустя год она вышла на русском в издательстве «Московский рабочий».

В 1989 году издан путеводитель по Москве на финском языке, написанный Алексеем Парщиковым в соавторстве с Юккой Маллиненом и Марью Маенпаа (Moskovan Kaltainen Kaupunki Seikkailijan Matkaopas Toimittaneet. Alexei Parshchikov, Jukka Mallinen, Marjo Maenpaa. Helsinki: Orient X-Press).

Работает в журналах «Дружба народов» и «Сельская молодежь», печатается в рижском журнале «Родник», переводит стихи молодых поэтов республик СССР (например, с узбекского — Мухаммада Салиха), ездит в творческие командировки (республики Средней Азии, Белоруссия, Грузия, Украина, Якутская АССР, Челябинск, Пермь, Владивосток) и участвует в поэтических конференциях. Активный интерес к его творчеству обнаруживается в региональной периодике и альманахах. Первые зарубежные поездки (Финляндия, Швеция, Дания, Франция, США).

Состояние его письма в то время представляют подборка уже хрестоматийных стихотворений 80-х и поэма «Я жил на поле Полтавской битвы».

Хрестоматийное 80-х

Лиман

По колено в грязи мы веками бредем без оглядки,
и сосет эта хлябь, и живут ее мертвые хватки.

Здесь черты не проведешь, и потешны мешочные гонки,
словно трубы Господни, размножены жижей воронки.

Как и прежде, мой ангел, интимен твой сумрачный шелест,
как и прежде, я буду носить тебе шкуры и вереск,

только все это блажь и накручено долгим лиманом,
по утрам — золотым, по ночам — как свирель, деревянным.

Пышут бархатным током стрекозы и хрупкие прутья,
на земле и на небе — не путь, а одно перепутье,

в этой дохлой воде, что колышется, словно носилки,
не найти ни креста, ни моста, ни звезды, ни развилки.

Только камень, похожий на тучку, и оба похожи
на любую из точек вселенной, известной до дрожи,

только вывих тяжелой, как спущенный мяч, панорамы,
только яма в земле или просто — отсутствие ямы.

В домах для престарелых

В домах для престарелых, широких и проточных,
где вина труднодоступна, зато небытия — как бодяги,
чифир вынимает горло и на ста цепочках
подвешивает, а сердце заворачивает в бумагу.

Пусть грунт вырезает у меня под подошвами
мрачащая евстахиевы трубы невесомость,
пусть выворачивает меня лицом к прошлому,
а горбом к будущему современная бездомность!

Карамельная бабочка мимо номерной койки
ползет 67 минут от распятия к иконе,
за окном пышный котлован райской пристройки;
им бы впору подумать о взаимной погоне.

Пока летишь на нежных чайных охапках,
видишь, как предметы терпят крах,
уничтожаясь, словно шайки в схватках,
и — среди пропастей и взвесей дыбится рак.

Тоннели рачьи проворней, чем бензин на Солнце,
и не наблюдаемы. А в голове рака
есть все, что за ее пределами. Порциями
человека он входит в человека

и драться не переучивается, отвечая на наркоз
наркозом. Лепестковой аркой
расставляет хвост. Сколько лепета, угроз!
Как был я лютым подростком, кривлякой!

Старик ходит к старику за чаем в гости,
в комковатой слепоте такое старание,
собраны следы любимой, как фасоль в горстку,
где-то валяется счетчик молчания, дудка визжания!

Рвут кверху твердь простые щипцы и костелы,
и я пытался чудом, даже молвой,
но вызвал банный смех и детские уколы.
Нас размешивает телевизор, как песок со смолой.

Сила

Озаряет эпителиальную темень, как будто укус,
замагниченный бешенством передвижения по
одновременно: телу, почти обращенному в газ,
одновременно: газу, почувствовавшему упор.

Это сила, которая в нас созревает и вне,
как медведь в алкогольном мозгу и — опять же — в углу
искривившейся комнаты, где окаянная снедь.
Созревает медведь и внезапно выходит к столу.

Ты — прогноз этой силы, что выпросталась наобум,
ты ловил ее фиброй своей и скелетом клац-клац,
ты не видел ее, потому что тащил на горбу
и волокна считал в анатомии собственных мышц.

В необъятных горах с этим миром, летящим на нет,
расходясь с этим миром, его проничая в пути,
расходясь, например, словно радиоволны и нефть,
проничая друг друга, касаясь едва и почти...

Ты узнал эту силу: последовал острый щелчок, —
это полное разъединение и тишина,
ты был тотчас рассеян и заново собран в пучок,
и — еще раз щелчок! — и была тебе возвращена

пара старых ботинок и в воздухе тысяча дыр
уменьшающихся, и по стенке сползающий вниз,
приходящий в себя подоконник и вход в коридор,
тьмою пробранный вглубь, словно падающий кипарис.

Сом

Нам кажется: в воде он вырыт, как траншея.
Всплывая, над собой он выпятит волну.
Сознание и плоть сжимаются теснее.
Он весь, как черный ход из спальни на Луну.

А руку окунешь — в подводных переулках
с тобой заговорят, гадая по руке.
Царь-рыба на песке барахтается гулко,
и стынет, словно ключ в густеющем замке.

Тренога

На мостовой, куда свисают магазины,
лежит тренога и, обнявшись сладко,
лежат зверек нездешний и перчатка
на черных стеклах выбитой витрины.

Сплетая прутья, расширяется тренога,
и соловей, что круче стеклореза
и мягче газа, заключен без срока
в кривящуюся клетку из железа.

Но, может быть, впотьмах и малого удара
достаточно, чтоб, выпрямившись резко,
тремя перстами щелкнула железка
и напряглась влюбленных пугал пара.

Пустыня

Я никогда не жил в пустыне,
напоминающей край воронки
с кочующей дыркой. Какие простые
виды, их грузные перевороты

вокруг скорпиона, двойной змеи;
кажется, что и добавить нечего
к петлям начал. Подергивания земли
стряхивают контур со встречного.

Жужелка¹

Находим ее на любых путях
пересмешницей перелива,
букетом груш, замерзших в когтях
температурного срыва.

И сняли свет с нее, как персты,
и убедились: парит
жужелка между шести
направлений, молитв,

сказанных в ледовитый сезон
сгоряча, а теперь
она вымогает из нас закон
подобья своих петель.

И контур блуждает ее, свиреп,
йодистая кайма,
отверстий хватило бы на свирель,
но для звука — тюрьма!

Точнее, гуляка, свисти, обходя
сей безъязыкий зев,
он бульбы и пики вперил в тебя,
теряющего рельеф!

Так искривляет бутылку вино
невыпитое, когда
застолье взмывает, сцепясь винтом,
и путает провода.

Казалось, твари всяя земли
глотнули один крючок,
уснули — башенками заросли,
очнулись в мелу трущоб,

¹ Жужелка — фрагмент шлака.

складских времянок, посадок, мглы
печей в желтковом дыму,
попарно — за спинами скифских глыб,
в небе — по одному!

Борцы

Сходясь, исчезают друг перед другом
терпеливо —
через медведя и рыбу — к ракообразным,
облепившим душу свою.
Топчутся. Щурятся, словно меняя линзы,
обоим ясны пояса на куртках.

Вес облегает борцов и топорщится,
они валят его в центр танца,
вибрирующего, как ствол,
по которому карабкаются с разных сторон вверх,
соприкасаясь пальцами,
но не видя напарника.

Казалось, сражаются на острие.
Нет, в кроне,
распирающей лунный шар. Ищут
противника среди ветвей. Наконец,
обнимаются, удивляясь,
как оправа очков в костре.

Первый — узловатей затопленного источника
и влажен.
Сыпучесть второго такая,
что
успел бы заполнить ухо
скачущей птахе.

Снится обоим: камень, курок, рукоятка,
яблочко от яблони,
Каин и Авель.

Час

Я прекращен. Я медь и мель.
В чуланах Солнечной системы
висит с пробоинами в шлеме
моя казенная модель.

Я знал старение гвоздей.
На стенке противоположной
висит распятое не новей,
чем страх упасть. И это ложно.

Что ожидает Капернаум,
что ожидает всякий город,
зачем и ты лицом развернут
в мою крошащуюся заумь?

Дитя песка, я жил ползком
и пару глянцевых черешен
катал по небу языком.
Землей их вкус уравновешен.

Кукушки, музыка, — часам
всегда даровано соседство:
три форкиады по бокам,
а я — их зрячее наследство.

Как выпуклы мои пружины!
Вослед за криком петушиным
сестрицы кончили с собой.
Пустые залы. День второй.